

Георгий Дерлугьян

ИСЛАМСКИЙ НЕ-ФАКТОР НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Данные историко-социологические заметки не имеют теоретической амбиции обосновать некие общеприменимые абстрактные положения. Равно не будет здесь и обобщения эмпирических данных. Это задача для будущих полевых исследований, если, конечно, позволят политические и организационные условия. Тем более, не идет речи о прогнозировании трендов. Без добротной эмпирической базы и проверяемой теоретической модели было бы легковесно, если не безответственно, пугать либо обнадеживать читателей сценариями будущего. Задача иная — вкратце и без излишне наукообразного жаргона прояснить некоторые организационные и идеологические особенности исламской религии, восходящие к обстоятельствам ее возникновения в Аравии времен Мухаммеда, и затем соотнести эти особенности ислама с эскизным наброском эволюции этнических обществ Северного Кавказа. В итоге, надеюсь, должно стать понятнее, почему ислам не следует воспринимать неким единоподчиненным и внутренне целостным «фактором» современной политики, о чем столько рассуждалось в последние годы. Все на самом деле куда интереснее и менее однозначно, хотя оттого, конечно, и не проще. Так что у данных заметок все-таки есть своя амбиция — по крайней мере озадачить читателя или даже прояснить кое-что существенное.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИСЛАМА

Традиционное сравнительное религиоведение, основанное на углубленном знании и сопоставлении священных текстов, вполне убедительно и детально показало генетическое сходство ислама с более ранними по происхождению христианством и иудаизмом. В самом деле, общее сразу заметно в трех «авраамических» традициях (т. е. почитающих Авраама предком). Текстологический анализ, однако, останавливается перед объяснением особенностей ислама и, тем более, самого факта его потрясающего исторического успеха. В поздней Античности и Средневековье возникало немало пророческих движений, но абсолютное большинство так и не двинулось далее стадии оппозиционной «ереси». Ислам же, восторжествовав в 630 г. новой

эры в Мекке, уже к 711 г. охватил пространство от долины Инда до Испании и вскоре от Занзибара до Дербента.

Раннее исламское воинство не пользовалось при этом никакими особыми новшествами в вооружении и тактике. Их главное преимущество, судя по всему, было именно морально-идеологического порядка. Невероятные победы против численно превосходящих противников следовали одна за другой. Возникшее практически из ниоткуда религиозное воинство арабов разгромило разом обе сверхдержавы своего мира — и Восточноримскую империю (Византию, едва отстоявшую в тот раз свою столицу Константинополь), и Сасанидский Иран. Такое не могло не вызывать громадного эмоционального подъема и веры в помощь самого Бога.

Тут возникает соблазн углубиться в мир текстов и смыслов, что на самом деле возвращает нас к пределам объяснительных возможностей традиционного религиоведения. Как ни парадоксально, путь вперед к пониманию относительной силы тех или иных идей лежит через возрождение материалистических подходов. Однако речь идет не о возвращении к вульгарному материализму классовых интересов, которые сами, при внимательном рассмотрении, неизменно оказываются политически сконструированными идеологемами (где, кроме лозунгов, можно увидеть единоклубное проявление воли пролетариата, как, впрочем, и буржуазии или феодалов, в остальное время склонных к рыночной конкуренции или княжеским усобицам). Современные материалистические подходы восходят более к Веберу, нежели Марксу. Основное внимание обращается на социальную инфраструктуру идей, т. е. их письменно-дискурсивные практики, материальные ресурсы, коллективные носители, воплощенные в сетях поддержки (будь то церкви, интеллектуальные салоны, университетская система, газетно-книжные рынки, подпольные кружки или политические партии), а также способность идей и их носителей предложить практический и притом эмоционально вдохновляющий организационный ответ на социальные противоречия. Примерно так определяет свой «организационный материализм» британский исторический социолог Майкл Манн, автор монументального исследования истории власти начиная с древнейших времен¹. Не менее важно попытаться понять идеологии и идейные движения не сами по себе, а непременно в позиционном соотношении с прочими силами, взаимодействующими в общем контексте своей исторической эпохи. Рэндалл Коллинз называет это «геополитикой идей»². Посмотрим, как этот теоретический подход работает в объяснении раннего исламского халифата. Основой нам послужат работы российских востоковедов О. Г. Большакова, а также А. В. Коротаева и его многочисленных соавторов, на данном направлении сегодня представляющие передний край мировой науки³.

1. Michael Mann, *The Sources of Social Power*, Vol. I. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

2. Randall Collins, *Macrohistory: Essays in Sociology of the Long Run*. Stanford: Stanford University Press, 1998. Также см. Рэндалл Коллинз. *Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения*. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002.

3. Большаков О. Г. *История халифата*. В 3 томах. М.: Восточная литература, 1989, 1993, 1998; Korotaev, Andrei, Vladimir Klimenko, and Dmitry Proussakov. «Origins of Islam:

Первейшая особенность ислама сразу становится очевидной при взгляде на историческую карту. В отличие от прочих мировых религий, будь то конфуцианство, буддизм или христианство, ислам возник не в центрах древних империй, а непосредственно за их внешними стенами, на ближней полупериферии. Подсистема оазисов и пустынь Аравии, примыкавшая к юго-восточному флангу Римско-эллинистического мира, в геополитическом смысле была аналогична подсистеме лесов и морских побережий северозападной Европы. В обоих регионах природный ландшафт и расстояние от баз снабжения не позволяли римским легионам установить постоянное господство. В то же самое время местные общества имели достаточно сельскохозяйственных ресурсов для поддержания довольно значительной массы населения и сложных политических образований — всевозможных конфедераций племен и царств-сателлитов в римской орбите. В этом Аравия, где Набатеи или Сабейские царства насчитывали многовековую историю и обладали собственными письменностями, несомненно превосходила тогдашнюю варварскую Европу.

Древнеаравийские царства, однако, исчезают практически одновременно где-то в середине VI в. общ. э., за одно-два поколения до Мухаммеда. Как предполагают сегодня ученые, виной было резкое изменение климата и серия катастрофических землетрясений, которые подорвали орошаемое земледелие в оазисах, вызвали голод и эпидемии, и вынудили людей забросить города. Нет письменных свидетельств той природно-демографической катастрофы, потому что первой погибла городская культура. Писать стало незачем и некому. Однако в доисламских арабийских преданиях и в самом Коране находится немало отзвуков природных бедствий, воспринимавшихся как гнев божий, и социальных потрясений крайней степени, когда голодные и отчаявшиеся люди буквально хватали друг друга за горло. В итоге наступает очередной период экологическо-социальной смуты и «темных» (т. е. бесписьменных) веков, каких сегодня исследователи обнаруживают немало в самых разных обществах⁴. Аравия, однако, вышла из той смуты самым нетривиальным путем — прежняя полупериферия сделалась центром новой мировой религии.

Распад централизованных властных структур, которыми прежде выступали древние арабийские царства, привел к анархии и, следовательно, возникновению сугубо местных коллизий. Мекка, родной город Мухаммеда, сохраняла в своих пределах относительный мир благодаря статусу старинного ритуального и паломнического центра, сложившемуся задолго до ислама вокруг святилища небесного камня (вероятно, метеорита) Каабы. Относительная безопасность Мекки в сочетании с ее расположением на караван-

Political-Anthropological an Environmental Context». *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae* 52:3–4 (1999): 243–276; Коротаев А. В., Клименко В. В., Прусаков Д. Б. *Возникновение ислама: социально-экологический и политико-антропологический аспект*. М.: ОГИ, 2007.

4. Джаред Даймонд. *Коллапс*. М.: АСТ, 2008; Нефедов С. А. *Война и общество. Факторный анализ исторического процесса*. М.: Территория будущего, 2008.

ных путях способствовали торговле. Однако торговые прибыли оказались монополизированы предводителями старших мекканских кланов, которых мы бы сегодня назвали олигархами. Такое неравенство возможностей вызывало недовольство массы младших и менее влиятельных предпринимателей, среди которых был и молодой Мухаммед. Вероятно отсюда идет столь ярко выраженное в исламе требование социальной справедливости уже в этой, а не в потусторонней жизни.

Иная коллизия существовала тогда в Медине, куда Мухаммед был вынужден бежать со своими первыми последователями в 622 г. (этот вынужденный уход из Мекки, или хиджра, считается первым годом исламского летоисчисления). Как и во многих других местностях Аравии времен вооруженной анархии и хронической кровной мести, в Медине основная масса беззащитного населения была вынуждена искать покровительства разного уровня военных вождей, которых сегодня называли бы полевыми командирами. По геополитической логике длительных конфликтов мелкие клановые отряды постепенно поглощались более крупными или более удачливыми формированиями, пока в Медине не остались две враждующие коалиции примерно равной силы. Возникла патовая ситуация. Измотанные затяжной усобицей мединцы приняли в качестве арбитра и миротворца Мухаммеда с его небольшим, но идейно воодушевленным и крепко спаянным отрядом последователей.

Идеологическое послание, которое нес Мухаммед, обладало тремя главными источниками силы. Это был прежде всего универсальный Закон, преодолевающий племенную раздробленность и несвязность отдельных обычаев (адатов) — и притом не деспотический закон мирских царей, позорно павших в недавней катастрофе. Шариатское право, исходящее из фундаментального принципа единобожия и равенства всех уверовавших, представляло собой практически в чистом виде тот принцип, который социолог Майкл Манн называет «нормативным умиротворением»⁵.

Во-вторых, исламский шариат, в отличие от прежних племенных адатов, отличался рациональной простотой, логической последовательностью и функциональностью. По сути это всеобъемлющая конституция, включающая в себя помимо канонических политико-религиозных постулатов также разделы уголовного, семейного и коммерческого права. В юридическом измерении ислам идет значительно дальше других мировых религий именно потому, что формировался в ответ на хаос межплеменной розни, а не внутри империй с их уже заданными в той или иной форме политическими структурами и гражданскими кодексами. Показателен контраст между религиозной инфраструктурой христианства и ислама. Православие и католицизм с их многочисленными священническими рангами, территориальным делением на диоцезы и епархии сохранили отпечаток административной иерархии позднеримской империи. В исламе же основные организационные функции принадлежат толкователям права (улема) и судьям — кадиям,

5. Michael Mann. *Op. cit.*, pp. 344–48.

которые избираются в силу их знания закона и личного благочестия. Более централизованная организация возникает у суннитов и особенно шиитов лишь много веков спустя, когда эти соперничающие фракции ислама превратились в официальные религии соответственно Османской империи и сефевидского Ирана.

Наконец, ислам возникает как новая «книжная» религия негосударственных обществ, стремящихся встать вровень с имперскими цивилизациями. Вот почему арабы времен Мухаммеда в конечном итоге (а колебаний было немало) так и не стали ни христианами, ни зороастрийцами, ни иудеями (подобно элите другого кочевого народа, хазар). Выбор был, очевидно, обусловлен логикой геополитических альянсов. На Ближнем Востоке ко временам Мухаммеда уже несколько веков шло противостояние двух сверхдержав: православной Византии и зороастрийского Ирана. Принять ту или другую веру означало стать младшим союзником одной империи и, автоматически, врагом другой. Ислам же, первоначально мыслившийся как собственная религия арабов, занял позицию третьей силы.

Многие прочие черты ислама также находят объяснение в геополитике, стремлении преодолеть внутреннюю клановую анархию и создании исключительно высокой степени солидарности внутри быстро растущей общины. Исламские ритуалы и доктрина подчеркнута просты. Однако предписание пятикратной молитвы в течение дня и ежегодного поста в месяц рамадан задают четкий дисциплинирующий ритм жизни верующего и регулярные ритуальные поводы для подтверждения чувства вселенской сопричастности. Даже совершая молитву в одиночестве, всякий мусульманин призван осознать, что одновременно с ним и в том же направлении на Мекку молятся миллионы единоверцев.

Запрет на употребление спиртного не был абсолютным в первые годы проповеди Мухаммеда, но затем становится все более жестким как мера военного времени и, более широко, как средство религиозной самодисциплины. То же самое относится к неравенству гендерных ролей. Это едва ли удивительно в воинском сообществе, где все источники социальной власти оказались в руках мужчин. Требование ношения женщинами скромной одежды толковалось как предотвращение соблазна соперничества среди мужчин, но также и установление демонстративного равенства среди самих женщин.

Показательно жестокие наказания за правонарушения и побитие камнями за прелюбодеяние, что в течение веков неизменно возмущало (хотя иногда и восхищало) немусульманских комментаторов, относятся к тому же комплексу дисциплинарных мер воинской демократии. Не вступая в обычную бесплодную полемику, заметим лишь, что Пророк очевидно стремился в столь крайних случаях избежать назначения профессиональных палачей, что напоминало бы практику деспотических царств. Современные либеральные представления затевают, насколько жестока бывает демократия к отступникам, угрожающим единству сообщества. (Вспомните хотя бы римские децимации, когда казнили каждого десятого среди провинившихся легионеров.) В казни же камнями, подобно публичным сожжениям ерети-

ков или сталинским чисткам, обязывались участвовать все члены общины. Это крайней степени эмоциональности дюркгеймовский ритуал отторжения чуждых элементов и одновременно очерчивание круга общности своих.

И, наконец, джихад. В принципе, это допускающее многие толкования слово означает «усилие» или, еще точнее, «преодоление». Покончить с курением — тоже джихад. Однако в основном применении, конечно, это война с неверными. Мухаммед начинал с небольшой вооруженной группы воодушевленных последователей, которые после замирения и обращения в новую веру прежде расколотой надвое Медины с новыми силами одолели сопротивление корыстных клановых олигархов в родной Мекке. Затем первые мусульмане стремительно пронесли по всей Аравии, встречая все более восторженный прием как растущая с каждой победой невиданная, но при этом своя, арабская, сила, несущая избавление от распрей и высокую эгалитарную этику. Наверное, не будет слишком большой натяжкой сравнить продвижение воинства Пророка с маршем мировой революции.

Продвижение исламской армии создавало в ее тылу освобожденные зоны, где население приняло новую веру. На этих территориях, в исламских «владениях мира», категорически запрещались вооруженный произвол и воинские практики захвата добычи, скота и пленников. В то же время агрессия воинской массы не подавлялась полностью, а направлялась вовне, на «владения войны», лежащие за фронтом противостояния с внешними противниками. Совершать туда походы и набеги почиталось делом славным и богоугодным. В награду религиозные рейдеры — *гази* (откуда производится *газават*, более специфический синоним джихада) после уплаты благотворительных взносов могли оставлять себе военную добычу. Тем самым Мухаммед нашел способ политико-символического подтверждения новой религии наряду с экспортом демографически избыточной массы наиболее задиристых молодых удалцов, не находивших себе применения внутри исламских территорий. Это хорошо известная в различных исторических ситуациях стратегия понижения демографического давления за счет других обществ, когда ожидания новых поколений начинали превосходить собственные хозяйственные ресурсы. Таковы были походы Александра Македонского, викингов, крестоносцев, наполеоновских армий, расселение русского казачества, европейская колонизация Америк. Воинство же раннего ислама сыскало столь невероятный успех, поскольку им противостояли с виду грозные империи Византии и Ирана, но к тому моменту истощенные своей бесплодной геополитической конфронтацией и, как сегодня предполагают ученые, тем же климато-демографическим кризисом, что поразил Аравию за поколение до Мухаммеда.

Подведем предварительный итог. Ислам, повторим, возникает не внутри империй, а на их внешнем порубежье. Проповедь Мухаммеда давала цельный ответ на анархию, поразившую многочисленные самостоятельные племена и кланы. В самой основе ислама заложены практики правового регулирования подобных конфликтов и создания соответствующей политической надстройки, способной престижно и эмоционально интенсивно объединить

клановое общество. При этом резко повышалась степень военной координации, но также и мирной вовлеченности в караванную торговлю (не забывайте, что сам Мухаммед изначально был купцом). Другим источником силы ислама стало выдвижение письменной высокоразвитой идеологии, доказавшей свою способность организовать как повседневную жизнь верующих, так и их коллективное противостояние империям. Хотя впоследствии ислам овладевает крупными городскими центрами и столицами империй, во многом он остается универсальной религией народов пустынь, степей и гор — обширных географических зон с подвижным, кланово-сегментированным и традиционно вооруженным населением. Подобные земли всегда были малопопулярны контролю государственных властей.

ГОРЫ, РУЖЬЯ И ДЕМОКРАТИЯ

Северный Кавказ очень долго, вплоть до XVI–XVIII вв., оставался дальней периферией исламского мира (как и ранее византийского христианства). Конечно, был древний город-крепость Дербент, однако это не часть Северного Кавказа, а скорее форпост восточного Закавказья и персидской цивилизации. Отдельные памятники мировых религий, сохранившиеся на Северном Кавказе, и указания письменных источников создают картину довольно бесплодных миссионерских усилий, долгое время не находивших почвы в местных обществах⁶. Периодически отдельные вожди и князья принимали в зависимости от своих внешнеполитических союзов то какую-то форму христианства (кочевническое несторианство или греческое православие), то ислам⁷. Большинство же населения по-прежнему практиковало местные семейные, воинские и природно-мистические ритуалы, отголоски которых сохраняются по наши дни, особенно в Абхазии.

Дело, очевидно, в той же геополитике. С одной стороны регион отделен практически непроходимой стеной гор от древних земледельческих центров Передней Азии. С другой стороны раскинулась великая Степь, по которой со времен скифов прокатывались мощные волны кочевых завоевателей. Горные леса и ущелья давали убежище множеству автохтонных народов Северного Кавказа, однако горы могли прокормить лишь численно малое население. В горах всегда остро не хватало не только пригодной к обработке земли и зимних пастбищ, но и таких важнейших для жизнеобеспечения продуктов, как соль. Доступ к плодородным предгорьям и торговым путям веками оставался основной дилеммой малых горских народов.

После распада Золотой Орды в предгорьях Северного Кавказа надолго возник геополитический вакуум, чреватый хронической небезопасностью. Лишь отчасти вакуум смогли заполнить княжеские конные дружины даге-

6. Anna Zelkina, *In Quest for God and Freedom: the Sufi Response to the Russian Advance in the North Caucasus*. London: Hurst & Co., 2000.

7. Michael Khodarkovsky, *Russia's Steppe Frontier: The Making of a Colonial Empire, 1500–1800*. Bloomington: Indiana University Press, 2002.

станских кумыков на восточном фланге, ногайских и крымских татар в Прикубанье и кабардинских черкесов в центральной части Северного Кавказа. Власть этих княжеских конников была весьма сродни рэкету, т. е. типичному для анархических хозяйственных систем навязыванию охранной платы за защиту в первую очередь от себя самих и от аналогичных воинских группировок⁸. Кумыкские, кабардинские и татарские аристократы того периода превращали свою вооруженную силу в даннический доход, регулярно наезжая «погостить» в подвластные селения, разбирая тяжбы и взимая штрафы, обеспечивая проводку торговых караванов, либо попросту захватывая скот и пленников ради выкупа или экспортной перепродажи в рабство.

Технической основой власти элитных конников служило обладание исключительно дорогим вооружением и чистокровными скакунами. Кольчуга, шлем, щит, сабля, лук и стрелы плюс боевой конь со сбруей в сумме были эквивалентны нескольким сотням голов скота, зато и превращали всадника в высокоподвижную ударно-броневую единицу. Перелом в балансе сил между элитными конниками и простыми общинниками наступил с проникновением в XVII–XVIII вв. на Северный Кавказ огнестрельного оружия. Вскоре местные умельцы научились сами изготавливать ружья и пистолеты весьма приличного качества и умеренной цены — всего несколько голов скота⁹. Меткая пуля простолюдина теперь сводила на нет вековое преимущество благородной кольчуги и сабли. Подобно «великому уравнителю» системы Кольта на американском пограничье, массовое распространение огнестрельного оружия на Северном Кавказе способствовало демократической революции в отношениях власти, однако отнюдь не миру.

Возникшая на Кавказе в XVIII в. анархическая ситуация воспроизвела основные черты кризиса, поразившего Аравию ко временам Мухаммеда: рушились военные и регулирующие монополии княжеской власти; демографический рост превысил ограниченные пределы экологической емкости горных ущелий и началось стихийное переселение вниз, на беспокойные равнины, что порождало новые волны конфликтов; излишние для традиционного сельского хозяйства молодые удалыцы искали себе славы и престижного обогащения в набегах и стычках с соперниками; народ жаждал порядка и моральной ясности; наконец, к XVIII в. окончательно ослабели кочевники, истощились до предела традиционные имперские соперники Иран и Турция, и пока лишь на горизонте появилась новая Российская империя. Обретшие в себе уверенность горские общинники на сходах племен и селений торжественно клялись стоять до конца друг за друга и считать собственных князей даже не врагами, а бродячими псами, которым вовсе не полагается оказывать гостеприимства. Политическое развитие региона, казалось, пошло вспять. Вместо какого-никакого «горского» феодализма возникал

8. Классической теоретической формулировкой является монография Чарльза Тилли: *Принуждение, капитал и европейские государства, 990–1990 гг. н. э.* М.: Территория будущего, 2008. В применении к постсоветскому рэкету, см. также Вадим Волков. *Силовое предпринимательство.* М.: ГУ ВШЭ, 2005.

9. Аствацатурян Э.Г. *Оружие народов Кавказа.* Нальчик: Эль-Фа, 1995.

на первый взгляд чуть ли не первобытно-общинный строй, заново становились актуальны родоплеменные идентичности. Дагестанский ученый М. А. Агларов еще в советские времена достаточно осторожно высказывал мысль о сопоставимости социальной эволюции горских общин с древнегреческими полисами¹⁰.

Первая реакция на подобное предположение обычно граничит с искренним возмущением перед святотатством — где Афины времен Фидия и Перикла, а где аул с какими-то абреками?! Стоит, однако, напомнить, что Афины были громадным исключением. Абсолютное большинство греческих полисов на самом деле оставались укрепленными деревнями. Впрочем, в истории не бывает полных параллелей. Речь идет лишь о более или менее близких аналогиях в пределах семейства исторических случаев самовозникновения республиканских институтов. При такой постановке проблемы мы выходим в самом деле на куда более широкие и потенциально крайне интересные исторические аналогии: Финикия, Спарта и Рим; кельтские племена и скандинавские викинги; средневековые городские коммуны Европы, торговые Новгород и армянский Ани; но также польская шляхта, швейцарские кантоны, самоуправляемые племена курдов, пуштунов, берберов, арабов или народности нагорий Бирмы и Таиланда. Такое сравнительно-историческое исследование остается делом будущего. Здесь нам достаточно отметить, что все перечисленные случаи самозарождения демократий так или иначе связаны с охранной кооперацией. Вместо выплаты дани царю или князю, навязавшему общине свое вооруженное покровительство, общинники совместно создают (иногда коллективно нанимают) собственное ополчение¹¹. Оборона, оказавшаяся эффективной, имеет тенденцию переходить в наступление. Отстоявшие свою жизнь и собственность земледельцы легко поддаются соблазну развить успех и стать профессиональными агрессорами: наемниками (древние греки, швейцарцы, албанцы, курды); империалистами (македонцы, затем римляне и, уже совсем в иную эпоху, американцы); либо пиратствующими рейдерами, как викинги, казаки времен Стеньки Разина или исламские воины-гази.

Очень большую роль в том, какую форму примет возникающая воинская демократия, играют доступные ей прецеденты и относительная сила геополитического окружения. Скажем, древние греки и римляне восприняли и затем значительно превзошли финикийско-карфагенские модели вооруженной торговли, алфавитной письменности, денежного обращения. Аравийский пророк Мухаммед принес своему народу идеологическую модель, избирательно заимствовавшую и весьма изобретательно усилившую регулирующие и экспансионистские практики соседних империй. Пример раннего ислама в свою очередь помог структурировать и перенаправить вовне

10. Агларов М. А. *Сельская община в Нагорном Дагестане, XVIII–начало XIX вв.* М.: Наука, 1988.

11. Волков В. Республика как тип охранного контракта. *Непфкосновенный запас*. 2007. № 5 (55).

анархию, возникшую на Северном Кавказе в результате вооруженного противостояния общинников и княжеских аристократий. Это и был имамат Шамиля.

История периода Кавказской войны хорошо изучена и плохо понята. Это было отнюдь не просто сопротивлением имперскому завоеванию, а эпохой быстрых и глубоких социальных изменений, собственно и создавших тот Кавказ, который мы знаем сегодня. Задумайтесь, сколько всего, что сегодня считается самым типичным и традиционным для Кавказа, на самом деле не существовало до тех пор. Еще в первой половине XVIII в. черкесы не носили черкески с ружейными зарядами — газырями и не махали легкими шашками, сменяющими более тяжелые сабли с распространением ружей; лезгины едва ли танцевали лезгинку (и уж точно не под гармошку); горцы, впоследствии названные осетинами, еще не отделились от будущих ингушей; чеченцы не были мусульманами и не слыли сорвиголовами; абхазы не делали аджик и грузины не кушали лобио — поскольку на Кавказе только начинали появляться завезенные испанцами из Нового Света стручковой перец и фасоль, а также помидоры, тыква, картошка, индюшки и, для многих областей Кавказа, главная кормилица — кукуруза (как для людей, так и для домашних животных), что наверняка способствовало значительному росту народонаселения. Было бы не менее интересно установить, как и когда именно на Кавказе распространяются столь символически важные и взаимодополняющие роли лихого джигита и церемониально-речистого тамады. Прообразом такого чуткого к исторической изменчивости исследования служит недавняя монография Владимира Бобровникова, блестяще исследовавшего эволюцию еще одного типично кавказского персонажа — абрека¹².

Имамат Шамиля приходится на завершающую кульминационную фазу столетия культурно-хозяйственных новшеств, социальных подвижек и политических потрясений. На таком историческом фоне история имамата должна была быть полна внутренней напряженности и противоречий. Их плохо улавливают внешние источники, создававшиеся в основном русскими офицерами, в то время как внутренние для горцев героические повествования представляют все эти коллизии столкновениями легендарных личностей. Горский простолюдин Шамиль нашел в исламе не только мистическое вдохновение, но также организационную платформу и детальную программу действий. Каким образом и насколько ему удалось реализовать эту программу остается предметом для будущих исторических исследований. Здесь же в порядке гипотезы заметим, что именно четверть века деятельности имама Шамиля, как ни парадоксально, в конечном итоге позволили включить нагорный Дагестан в состав Российской империи. Создание исламской государственности подготовило социальную почву, централизованную организацию и авторитетные кадры. С самим Шамилем и его последователями уже могли искать некоего компромисса российские колониальные власти.

12. Бобровников В. О. *Мусульмане Северного Кавказа: обычай, право, насилие*. М.: Восточная литература, 2002.

Если эта гипотеза верна, то она также помогает нам понять трагедию выселения черкесских народов после 1864 г. Причины не только в относительной близости Черного моря и турецком влиянии (хотя это были критически важные факторы), но вероятно и в отсутствии централизующего дисциплинарного опыта имамата. В отличие от Дагестана, среди политически сегментированного «вольного» (т. е. непременно вооруженного) черкесского населения Причерноморской полосы царское командование просто не находило достаточно авторитетных посредников, которых можно было бы привлечь к сотрудничеству в структурах косвенного «военно-народного» управления. Это направляло генералитет к бескомпромиссной военной стратегии установления контроля над северо-западной частью Кавказа, тем более что после Крымской войны были получены значительные подкрепления и новые виды стрелкового оружия, поставленные тем же американским промышленником Сэмом Кольтом¹³. Неодолимое на сей раз продвижение русских войск и относительная близость Турции вызвали апокалиптический исход большинства черкесских народов из родных местностей в пределы единоверной Османской империи. Таким образом завоевание Северного Кавказа на западном фланге обернулось коренным изменением этнической карты региона.

КРИЗИС НАШЕЙ ЭПОХИ

Советская военно-индустриальная модернизация принесла на Кавказ на первый взгляд необратимые изменения социально — экономических структур. Из 1950-х и все еще из 1980-х гг. прошлое региона выглядело безвозвратно минувшим. Тем большим шоком оказались разрушительная депрессия и конфликты 1990-х гг. Казалось, из каких-то глубоко сокрытых слоев архаичного сознания вдруг возродились персонажи, практики и коллизии все той же Кавказской войны.

Отчасти то была иллюзия, порожденная переоценкой степени изменений советского периода. Новая жизнь, насаждавшаяся в течение жизни всего двух-трех поколений, не могла быть совершенно новой, особенно в сельских местностях Кавказа, куда импульсы советской модернизации проникали лишь опосредованно. Прежние социальные практики продолжали структурировать семейный и общинный быт. Иначе и не могло быть, поскольку в случае полного отказа от традиций и авторитетных представлений терялась управляемость местными обществами. В непубличном дискурсе это признавалось советскими властями на местах, хотя в годы наиболее активного сталинизма, когда сами местные власти подвергались репрессиям, возникали чудовищные провалы. В новой форме колхозов нередко сохранялось сельское самоуправление и традиции инвестирования в общинную инфраструктуру (дороги и мосты, колодцы и водопроводы, школы и народ-

13. Joseph Bradley, *Guns for the Tsar: American Technology and the Small Arms Industry in Nineteenth-Century Russia*. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1990.

ные кружки самодеятельности, кладбища и порою даже мечети). Позднее, уже в брежневские времена, власти выработали терпимое (и неизбежно коррумпированное) отношение к таким хозяйственным практикам, как сезонные трудовые миграции («шабашничество») и мелкотоварное производство фруктов и овощей, особенно развившееся в благоприятных климатических местностях вроде Адыгеи и Абхазии.

Тем не менее советская общественная трансформация не была иллюзией. Она воплотилась прежде всего в городах с их новой материальной средой обитания, социальными практиками труда, потребления и досуга, принципиально новыми статусными различиями и жизненными стратегиями. Именно городская сторона советской модернизации, напрямую связанная с государственными ресурсами, подвергнется наибольшему разрушению с распадом государственного социализма.

Советский модернизационный рывок, произведенный централизованным политико-бюрократическим усилием, привел к уничтожению всех без исключения прежних классов и возникновению новой трехклассовой иерархии: номенклатуры, пролетариата и субпролетариата. Где здесь, спросите, интеллигенция или крестьянство? Но классы определяются не родом деятельности, а положением в распределении власти и доходов. Советская интеллигенция дипломированных специалистов (инженеров, врачей, преподавателей и ученых, а также военных офицеров) жила на зарплату и работала в крупных учреждениях под контролем всевозможных бюрократических начальников. Это классические признаки пролетариата — с той лишь важнейшей разницей, что советский пролетариат, по крайней мере его более образованные слои, таковым считать себя отказывался и потому, в отсутствие политического пространства, наращивал культурный и статусно-символический потенциал. Так возникает новая массовая интеллигенция. Эта тенденция символического классового сопротивления бюрократическому контролю достигает пика в советском «шестидесятничестве» и затем в перестроечном энтузиазме, которые в этнических республиках принимают национальную форму.

Номенклатура в принципе есть высший персонал бюрократии, но бюрократии суверенной, не подчиненной интересам капиталистических или каких-либо иных господствующих классов. Номенклатура одновременно и властвующая элита, и, шире, господствующий класс, и само государство. Но именно потому, что номенклатура и есть суверенное государство, внутри нее возникают фракции охранителей-консерваторов и более либеральных модернизаторов, соперничающие по поводу государственных приоритетов и идеологических представлений. Как и во множестве предреволюционных ситуаций, изученных на материалах других стран, различие в идейных установках элит перерастает в открытые конфликты в моменты кризиса государственных финансов. Тогда противоборствующие фракции обретают и рекрутируют последователей среди подчиненных классов, которые с ослаблением прежних механизмов контроля и решения внутриэлитных противоречий начинают все смелее выдвигать собственные требования. Это и было главным механизмом возникновения в СССР перестройки.

Дальнейший ход событий определялся тем, какие ресурсы могли привлечь на свою сторону противоборствующие силы. Вот тут основную роль начинали играть всевозможные местные особенности. Едва ли национальные интеллигенции Алма-Аты, Баку, Нальчика и Грозного были менее интеллигентны, нежели их собратья по классу в Киеве, Казани или Вильнюсе. Благодаря советской централизации достаточно изоморфны были и номенклатуры. Истоки расхождения постсоветских траекторий очевидно следует искать в том, что остается за вычетом советской властной инфраструктуры и населявших ее классов. Громадную разницу совершенно очевидно создают наличие или отсутствие опыта досоветской государственной независимости и культурно-географическая близость к другой, желанной властной инфраструктуре, как в случае с решающим воздействием государств Евросоюза на бывшие соцстраны региона, который теперь начинают называть Центральной Европой. Но нас здесь интересует другой регион.

Огромную разницу играет то, какие социальные группы в данном обществе в момент острого кризиса могли мобилизовать противоборствующие политические элиты и контрэлиты. Конкретно речь здесь идет об относительной доле третьего класса — субпролетариата. Строго говоря, это даже не класс, а широкая остаточная категория населения, которое уже раскрестянилось, но не стало структурированным городским пролетариатом. В других странах и эпохах их называли маргиналами, люмпенами, «улицей», посадскими. Термин субпролетариат предпочтительнее, поскольку он указывает на сочетание в структуре доходов домохозяйства зарплата от работы по найму с ресурсами подсобного хозяйства, кустарных промыслов, мелкой торговли, частного извоза, «шабашки» и прочих видов деятельности, которые государство считает неформальными, если не криминальными. Эпизодически доходы субпролетарских семей могут быть весьма велики, чему наглядно свидетельствуют частные кирпичные особняки (зачастую недостроенные) и престижные автомашины-иномарки (зачастую с сомнительными документами) среди малообустроенных пригородов и поселков Северного Кавказа.

Субпролетариат крайне разнороден и нестабилен, отчего не только особенно труден для обобщений, но и сам по себе принципиально не способен действовать как единый класс. Субпролетарское «простонародье» вступает в политику как правило в качестве митинговой поддержки национальных движений. В этом случае недостатки социального статуса оборачиваются преимуществом. Недавнее сельское прошлое, низкий образовательный уровень и соответствующие бытовые практики делают субпролетариев более этничными и нередко более религиозными в сравнении с устоявшимися горожанами. Сюда же относятся типичные гендерные ориентации и навыки молодых субпролетариев, для которых более доступен и оттого привлекателен мужской силовой образ спортсмена-единоборца (борца, боксера) либо просто «джигита», в современных условиях с узнаваемыми повадками приклатенного хулигана.

Добавьте к этому и негородскую демографическую стратегию субпролетарских семей, в которых обычно сочетается несколько поколений, включая немало детей и подростков. Ситуацию хорошо иллюстрирует социологическое исследование времен перестройки. При очень низком уровне официальной зарплаты в совхозном секторе Чечено-Ингушетии (в среднем порядка 80 советских рублей в месяц) значительное число мужчин (от 20 до 40 тыс. человек) ежегодно уходило на заработки за пределы республики, в основном на стройки Сибири и Казахстана. Свыше двух третей женщин было занято исключительно в домашнем хозяйстве. Более же всего впечатляет демографический разрыв между городом и селом. Если в Грозном, в том числе среди городских чеченок и ингушек, на женщину в детородном возрасте приходилось менее двух детей (как и повсюду в крупных советских городах), то в негородских поселениях рождаемость оставалась высокой, порядка четырех-пяти детей¹⁴. В итоге субпролетарские пригороды и поселки оказываются способны выставить в политику значительную массу активных и культурно более «этнических» бойцов.

Бедствия Северного Кавказа постсоветского периода отнюдь не исключительны. Это часть, пожалуй, самой главной глобальной дилеммы нашей эпохи. Как афористично подметил великий историк современности Эрик Хобсбаум: «Для 80 процентов человечества Средневековье внезапно окончилось в 1950-е годы»¹⁵. Впрочем, даже Хобсбаум здесь слишком осторожен. На самом деле окончательно завершилось не Средневековье, а куда более длительная историческая эпоха, восходящая истоками к Неолитической революции. В течение нескольких тысячелетий абсолютное большинство человечества обитало в деревнях и самостоятельно воспроизводило все основные условия своей жизнедеятельности — продовольствие в первую очередь, но также и прочно укорененные в семье и общине социальные практики воспитания и передачи навыков новым поколениям, контроля девиантности, ритуальной организации своего досуга и духовной жизни. Не стоит романтизировать сельский уклад жизни. Он был подчинен авторитарной патриархии глав семейств и никогда не был легким и бесконфликтным, регулярно обрушиваясь из-за достижения экологических пределов перенаселения, эпидемий, войн и прочих исторических бедствий. Однако сельский уклад обладал высокой предсказуемостью, заданной обычаями, и способностью самовосстанавливаться усилиями малых традиционных групп. Доиндустриальные общества различных типов существовали вполне отдельно от властвующих элит и государств, которые взимали дань, но редко вмешивались в хозяйственную организацию, предоставляя крестьянству расти, как траве.

14. Гужин Г. С., Чугунова Н. В., *Сельская местность Чечено-Ингушетии и ее проблемы*. Грозный: Чечено-Ингушское книжное издательство, 1988.

15. Eric Hobsbawm, *The Age of Extremes. A History of the World, 1914–1991*. New York: Vintage Books, 1994, p. 288. (Эта книга сегодня переведена почти на тридцать языков, в том числе на русский: Эрик Хобсбаум. *Эпоха крайностей*. М.: Издательство «Независимая газета», 2004.)

Все это рушится с приходом современного транспорта и электричества, доступом к новым рынкам, промышленно произведенным товарам, современному образованию и внешним для села видам занятости (включая вербовку на индустриальные стройки и, конечно, военный призыв). Подвоз продовольствия извне благодаря рынкам, государственным усилиям либо гуманитарной помощи в периоды голода снимает стародавний жестокий ограничитель демографического роста. Плюс к тому даже самая базовая санитария и медицина резко понижают традиционно высокую смертность, особенно среди рожениц и детей. Это приводит к демографическому взрыву, который начался два — три столетия назад на Западе, затем охватил остальные страны Европы, включая Россию, и уже во второй половине XX в. становится подлинно глобальным.

Как показывает исторический опыт Запада и, ближе к нам, России, демографический рост со временем стабилизируется и даже идет вспять. Однако между понижением исторически высокой смертности и соответствующим понижением рождаемости проходит несколько поколений. И это очень беспокойные времена, полные массовых миграций, бунтов, войн, эсхатологических религиозных, националистических либо классово-революционных движений. Полезно иногда вспомнить, что происходило в сегодня такой «остывшей» к конфликтам Европе между 1789 и 1945 гг. и еще в 1968 г. Весь мир сегодня находится где-то посреди сопоставимого исторического перехода, хотя аналогия далеко не полная. Западная Европа, заметим, в свое время сделалась господствующим центром современной миросистемы и так получила возможность решать многие проблемы за счет колониальной экспансии. Сегодня миру едва ли грозит завоевание богатого и демографически стареющего Севера более бедным и перенаселенным Югом (сценарий тотальной войны цивилизаций, к счастью, относится к разряду идеологического алармизма, который перестает выглядеть пугающе при серьезном разборе организационно-политических условий подобной гипотезы). Представляется не только более желательной, но и более вероятной некая общемировая «разрядка напряженности» или даже более институционализированная социально-экономическая демократизация¹⁶. Основания для долгосрочного оптимизма дает не столько вера в распространение либеральных ценностей, сколько уже вполне обозначившиеся тенденции к геополитической децентрализации и выравниванию экономических уровней различных регионов мира. Когда конфликты становятся слишком затяжными и бесперспективными, политики всех сторон склонны уходить от идеологической чистоты и заключать пускай циничные компромиссы¹⁷.

Однако в среднесрочном плане нам предстоят довольно смутные времена — смутные, поскольку приемлемые и реалистичные политические вари-

16. Джованни Арриги. *Адам Смит в Пекине. К политической экономии современности*. М.: ИНОП, 2009.

17. Randall Collins, «Secularization: Religious and Political» Paper presented to the 20th anniversary ASSR conference on mobility, Jan. 2007.

анты едва ли просматриваются. Историко-демографический переход стран Запада проходил в условиях мощной индустриализации и военных мобилизаций. Это оттягивало значительные людские ресурсы, но при этом также давало простому «человеку с ружьем» и работнику у станка изрядную коллективную силу, с которой вынуждены были считаться господствующие элиты. Это и было основными причинами демократизации Запада в последние полтора-два столетия¹⁸. Вероятно, трехтактная динамика урбанизации — индустриального конфликта — демократизации сегодня возникает либо вскоре должна возникнуть в быстро развивающемся Китае. Пусть в менее явном виде, то же самое происходило позднее и в Советском Союзе, достигнув кульминации в брежневском варианте субсидируемого общества потребления и перестройке, которая, увы, не смогла закрепиться из-за распада самого объекта демократизации, т. е. государства. В результате Северный Кавказ даже более, нежели большинство регионов бывшего СССР, демонстрирует после 1991 г. скорее обратную динамику деиндустриализации, дедемократизации и деурбанизации, что означает вовсе не возрождение деревень, а размывание современной городской среды и регресс к субпролетарским практикам. Норберт Элиас, основоположник изучения процессов, формирующих цивилизованные манеры и навыки, достаточно трезво предполагал и возможность обратного процесса — децивилизации¹⁹. Регрессивные тенденции будут продолжаться до тех пор, пока некий рыночный ли, плановый или гибридный механизм не породит новую индустриальную волну и не возродит городскую структуру занятости с соответствующими социальными ролями и практиками.

КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мне бы хотелось избежать каких-либо окончательных заключений. Задачей данных заметок было хотя бы пунктирно наметить подходы к прояснению трех ключевых вопросов, которые лишь косвенно, если вообще фигурируют в текущих дебатах об исламском возрождении / угрозе и Северном Кавказе. Это вопрос организационных и идеологических особенностей исламской религии, восходящих ко временам ее возникновения; вопрос исторического прошлого Северного Кавказа и социальной динамики сопротивления горцев; и вопрос о месте Северного Кавказа в постсоветском и мировом переходном кризисе. Надеюсь, аргументы были изложены достаточно ясно, пускай и тезисно, и подтолкнут читателя к более плодотворным и трезвым размышлениям.

Позволю лишь сфокусировать внимание на заключительном тезисе. Ислам не выступает ни неким самостоятельно направленным и целостным факто-

18. Чарльз Тилли. *Принуждение, капитал и европейские государства, 990–1990 гг. н. э.* М.: Территория будущего, 2009.

19. Норберт Элиас. *О процессе цивилизации.* В двух томах. М.; СПб: Университетская книга, 2001.

ром, ни тем более причиной нынешнего состояния дел на Северном Кавказе. Ислам к середине 1990-х гг. оказался последним традиционным символическим ресурсом для этнических обществ региона после провалившихся идеологических проектов советского социализма, западного либерализма и местного национализма. Но и тогда ислам не стал целостным проектом, а как минимум несколькими нередко соперничающими проектами.

Для большинства старых и новых постсоветских верующих ислам стал личной и семейной формой нормативно-этической и самодисциплинирующей обороны перед лицом распада прежней советской модели общества и связанных с ней ожиданий. В этой функции ислам мало чем отличался от бытового ритуального возрождения христианства²⁰. Ровно так же, как их русские собратья по классу, бывшие номенклатурные чиновники и нувориши стали инвестировать часть сверхдоходов в строительство религиозных зданий и показательные публичные ритуалы, что с их стороны было заурядным и, как всегда, не слишком эффективным «пиаром». Остается вопросом, будут ли со временем обжиты новехонькие мечети, выстроенные по турецким «евростандартам». Тем не менее исламские традиции, несомненно, оказались значительно более живыми и эмоционально активными. Это скорее результат более непосредственной связи народов Северного Кавказа со своим деревенским прошлым, нежели имманентных черт ислама.

Действительно особую роль сыграли разбивавшиеся выше классово-эгалитарные, надплеменные, юридические и воинские особенности ислама в политическом проекте фундаментализма. Этому способствовало сочетание как минимум трех обстоятельств: постсоветская анархия в ее нормативно-этических и силовых (криминальных как и, увы, военных) проявлениях, ответ на которую давал изначальный ислам; достаточно близкая историческая память об эпических временах Кавказской войны и имамата Шамиля; наконец, восстановившиеся каналы взаимодействия со странами Ближнего Востока, где Северный Кавказ был воспринят как зона возможной идеологической, геополитической и (особенно для Турции) коммерческой экспансии. Представления об эффективности зарубежных подрывных центров, несомненно, крайне завышены и, подобно всем теориям заговора, плохо переносят проверку логикой и фактами. Роль зарубежного влияния все-таки была значительной, хотя и не напрямую, а более опосредованно, через трансляцию идеологических и организационных образцов, которые воспринимались и воспроизводились на Северном Кавказе местными активистами преимущественно из ищущей статуса и смысла жизни молодежи. В этом динамика исламского влияния удивительно напоминает динамику западного идеологического влияния, причем не только либерального. Конечно, российские власти после серии «цветных» революций более обеспокоили права человека, гендер, экология и другие темы, финансируемые западными фондами. Но ведь когда сами чиновники ради показного пре-

20. Каарияйнен, Киммо и Фурман Д. Е. (ред.). *Старые церкви, новые верующие. Религия в массовом сознании постсоветской России*. СПб: Летний сад, 2000.

стижа усваивают жаргон школ бизнеса, а силовики облачаются в спецназовскую форму из голливудских боевиков — это ведь тоже статусные стратегии подражания престижным образцам и социально-психологического конструирования себя.

Исламский фундаменталистский проект, как становится очевидно по прошествии более десятилетия, заведомо не мог представлять той надежды или опасности, которую ему приписывали. Да, во времена имама Шамиля унаследованная от Пророка матрица преодоления внутренней анархии в клановом обществе и борьбы с империями иноверцев могла быть применена практически буквально. Но ислам не может организовать современное общество сам по себе, без достаточно эффективной современной государственности (в чем и состоит секрет успеха Ирана или Турции, но не Афганистана и Чечни). Вопрос для Северного Кавказа и остального мира сегодня — откуда взять эффективное и социально ответственное государство, способное организовать социальное воспроизводство и создавать такие общественные блага, как безопасность улиц, строительство дорог, оплату труда учителей и врачей, и не в последний черед, рыночная контрактная дисциплина и честность. Вполне можно допустить, что воссоздание общества будет иметь религиозную нормативную составляющую. Но надежды на моральное возрождение останутся, как водится, утопией без экономической и административной составляющей. Даже такая необычно практичная религия, как ислам, не располагает инфраструктурным потенциалом необходимого размаха. Потребуется, скорее всего, сопряжение нескольких известных нам источников социальной координации — рынков, государства, религиозных и моральных сообществ, политических движений. Каким образом? Это и есть главный вопрос.